ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Сергей Есенин
«ДУША ГРУСТИТ
О НЕБЕСАХ...»

Сергей Александрович Есенин
А. В. Гулин

«Душа грустит о небесах…»
Стихотворения и поэмы

Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7764913
С. А. Есенин «Душа грустит о небесах…» Стихотворения и поэмы: Детская литература; Москва; 2001
ISBN 5-08-003938-8

Аннотация

В сборник великого русского поэта вошли его широко известные стихотворения: «Разбуди меня завтра рано…», «Я последний поэт деревни…», «Исповедь хулигана», «Не жалею, не зову, не плачу…» и др., и поэмы: «Пугачев», «Черный человек», «Анна Снегина».

Содержание

Духовный путь Сергея Есенина 5
Конец ознакомительного фрагмента. 25

С. А. Есенин
«Душа грустит о небесах…»
Стихотворения и поэмы

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001
© А. В. Гулин. Сост. Вступ. статья. Комментарии, 2001
© Л. Д. Бирюков. Иллюстрации, 2001

Духовный путь Сергея Есенина

Его поэзия – словно мы сами. Всенародное признание этого художника есть нечто большее, чем только популярность. Национальный гений, Есенин (как до него Пушкин, как, может быть, Лермонтов) обладал редким, исключительным свойством выражать не только отдельные, хотя бы и очень существенные, стороны народной души, но открывать и постигать ее всю, в бесконечной сложности и многообразии. Между тем сбывался этот великий дар (не потому ли, собственно, и сбывался?) в необычайно тягостную, смутную пору отечественной истории.

Россия стояла на краю гибели. Первая мировая война, крушение вековой государственности, братоубийственная гражданская рознь, казалось, предвещали стране полное уничтожение. Русский дух переживал колоссальный, мучительный «сдвиг», пребывал в состоянии глубокого смятения. И во всем сопричастная ему есенинская муза тоже оказалась исполненной самого неподдельного драматизма. В меру своего огромного таланта Есенин острее многих современников испытал единый для всех небывалый натиск черных, богоборческих энергий, готовых замутить любые животворные ключи. Отсюда рождалась пронзительная интонация его стихов, их неповторимо трагическая гармония.

Удивительной, неподвластной обычным человеческим меркам была его судьба. За тридцать лет, отпущенных ему на земле, Есенин успел так много, словно прожил огромную жизнь. Изменчивость созданного им поэтического мира тоже выглядит беспримерной. Оставаясь полностью самим собой, этот художник вместил в себе одном словно бы нескольких поэтов. Исключительная широта внутреннего диапазона, столкновение несходящихся крайностей были присущи ему, как мало кому еще в истории русской литературы. Но в этих взлетах и падениях, стремительных переходах от святости к безбожию, от кротости к буйству и все-таки вечной способности к возрождению явила себя сама Россия новой эпохи.

Не потому ли эта поэзия так волнует русское сердце, что в ней мы открываем воочию источник нашего счастья на земле и вместе с тем прикасаемся к тайне собственной неустроенности, внутреннего и внешнего разлада? Сергей Есенин полнее и глубже, чем кто бы то ни был из поэтов – его современников, поведал о русской катастрофе уходящего века. Он – певец этой драмы, имеющей не только национальное, – мировое значение, не завершенной, увы, и по сегодняшний день.

* * *

Весной 1915 года совсем еще юный Есенин приехал в Петроград. Успех молодого поэта был стремительным и громким. Невысокого роста, светловолосый, удивительно

подвижный, с голубыми, постоянно меняющими свой оттенок ясными глазами, этот уроженец глубинной России, представитель коренного русского сословия – крестьянства, привлек всеобщее к себе внимание. Облик его на редкость органично соединялся с духовным строем привезенных им стихов.

Литературный Петроград, город военной поры, то с неподдельным восторгом, то снисходительно улыбаясь приветствовал явление самобытного таланта. В нем искренне хотели видеть живую, солнечную Россию, не тронутую тусклым сиянием «серебряного века», далекую от его смутных теней. Эти стихи, «свежие, чистые, голосистые, многословные», по словам, собственно, и открывшего молодому поэту путь в литературу Александра Блока, были той поэзией, которую ждал русский город 1910-х годов.

Сам он, разумеется, лучше других сознавал собственное призвание. Что бы там ни говорили о счастливом повороте судьбы, о несомненной удаче, о моде на его стихи, юноша Есенин во многом сознательно создавал свой поэтический образ, выстраивал отношения с художественным миром северной столицы. Он удивлял завсегдатаев литературных салонов не только смелостью, пленительной красотой своего стиха, но и, не в последнюю очередь, подчеркнуто крестьянскими манерами, мог часами на публике или в дружеском кругу петь под гармонику родные рязанские частушки. Между тем за этим очевидным каждому «местным колоритом» скрывалась напряженная внутренняя жизнь, лишь великому поэту свойственная полнота видения мира.

«Избяной», как многим тогда казалось, поэт Есенин «пережил душой» наследие Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, превосходно усвоил уроки лучших современных мастеров. Он выступал продолжателем огромной традиции. И была закономерность в том, что русский творческий дух накануне близких потрясений самым непосредственным образом заявил о своих истоках, получил высшее проявление в поэзии человека из народа. Талант Есенина только с первого взгляда выглядел безоблачным. На самом же деле свет и тени русской истории, как бывает перед грозой, обозначились в нем предельно ярко.

В рязанском селе Константинове, где 21 сентября (3 октября) 1895 года он увидел свет, поражает необычайной красоты картина, что открывается с высокого берега Оки. Огромное, на километры вдаль уходящее пространство земли: излучина реки, луга, дальше – лес до самого горизонта. Над всем этим – безграничное небо, которое сходится с землей почти незаметно, словно переходя в нее и проникая собой. Константиновские земные обители кажутся поистине благодатными. И, как видимый воочию духовный мост, соединяющий временное пристанище человека с миром вечной жизни, стоит на речном откосе, напротив дома Есениных, церковь Казанской Иконы Божией Матери. В ее стенах венчались родители поэта, Александр Никитич и Татьяна Федоровна, в ней он был крещен именем Сергей.

На рубеже двух веков, XIX и XX, русская деревня еще хранила традиционное, создавшее и укрепившее Россию, сознание того, что родная земля – это подножие Престола Божия, новый Иерусалим, что истинное отечество каждого россиянина – в царстве ином, непреходящем. Бабушки и деды Есенина, люди православные уже по своему родовому определению, – крестьяне, хорошо знали эту главную истину, полученную в наследство от своих бабушек, своих дедов. Те из них, кому довелось заниматься воспитанием внука, сделали все, чтобы вдохнуть ее и в душу будущего поэта. По прошествии многих лет Есенин, говоря о поэтической книге «Зарево» своего друга Петра Орешина, напишет: «Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш, иже еси…» Евангелие, жития святых были настольными книгами едва ли не в каждой деревенской семье, и данные в них миру высокие истины воспринимались поэтом так же естественно, как воздух, которым он дышал.

Неотделимая от веры отцов народная культура – духовные стихи, обрядовые песни, в которых веками являла себя Православная Русь, – тоже очень рано получила отклик у него в душе. Сам уклад жизни, не всегда праздничной, омрачаемой горестями и утратами, но теплой даже и в тяготах повседневности, заключал в себе высокую гармонию: с его малым космосом – избой крестьянина, чередованием забот сменяющихся времен года, умными животными – ведь и они в селе тоже работники. И вся земля вокруг – ее луга, поля, березовые перелески, – как любая земля в России, только по-своему, по-рязански, отражала лучи незримого Божественного света. В этих лучах, щедро излившихся на будущего художника в начальную пору жизни, происходило становление его таланта. Отсюда – многое из того, что отличало уже первые его стихи: редкая поэтическая искренность, особая мелодичность, напевность, сочные и яркие, укорененные в искусстве русского народа метафоры. Отсюда – никогда не увядающая нравственная отзывчивость есенинской лирики, в разные годы написанных больших и малых поэм.

Он начинал, что было вполне естественно, как певец дорогого ему крестьянского мира. Увиденные изнутри живые приметы русской деревни наполняли собой едва ли не каждое создание молодого художника. Это же относится и к поэтическим его настроениям. Творчество Есенина уже самой первой поры впитало в себя целую «радугу» народного мироощущения: и твердое, незыблемое признание святости земледельческого труда, и молодую «жениховскую» радость весеннего обновления жизни, и врачующее душу чувство единения с родной природой. Но за любой чертой близкого поэту сельского обихода, за каждым, не ему одному свойственным, переживанием угадывалось и нечто большее. Есенин обладал умением «собирать» в едином звуке Россию земную и небесную, открывать словом ту потаенную связь, что определила на века судьбу России, судьбу каждого из русских. Простая жизненная подробность, непосредственная эмоция в то время, как правило, выступали у него проводниками возвышенного и чистого созерцания. Ему достаточно было сказать:

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных… —

и огромная страна с ее прошлым, будущим в единый миг представала перед глазами. До последнего вздоха поэт любил «малую родину», но с первых своих шагов принадлежал Родине вечной.

Православные мотивы, то восходящие к народному творчеству, то подсказанные впечатлениями современности, воплотились в есенинской поэзии дореволюционных лет с невиданной полнотой. В свою очередь, церковная лексика проникала в этот художественный мир как необходимое, связанное с его сутью и смыслом, изобразительное средство. Но и там, где ее не было, стихи Есенина сохраняли порой почти молитвенную, благоговейную чистоту. Предчувствие особой, скорбной и радостной, судьбы Отечества, где Христос, Его любовь, Его страдания служат прообразом жизни каждого человека и всего народа, где только во Христе возможно обретение вечного блага, слышалось во многих стихах юного поэта. Великая тайна русской печали, русского счастья, русского торжества обретала у Есенина подлинную силу лирического прозрения:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

……..

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Впрочем, земная родина поэта в то время, на которое пришлось детство Есенина и затем начало его литературного пути, существовала уже далеко не во всей первозданной своей силе. Дух материализма, провозгласивший мирские цели единственно достойными человека, скрываясь под видом всевозможных «исканий», а то и прямо заявляя о себе идеями ничем не прикрытого атеизма, получал в России все большую свободу и размах. Он напитал собою воздух, им дышали «передовая» культура, философия, социальные учения, он давал о себе знать и в повседневных отношениях между людьми, и в том, как россияне, многие из них, понимали теперь будущее своей страны и мира. Сказанное относится прежде всего к образованным сословиям. Но по-своему те же темные ключи били и в самой глубине народной жизни.

Великое брожение эпохи не могло не отзываться, так или иначе, в натурах чутких, мистически настроенных. «Рано посетили меня, – вспоминал Есенин позднее, – религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать». После того как поэт, окончив у себя в Константинове начальное земское училище, пройдя трехгодичный курс в учительской школе небольшого рязанского городка Спас-Клепики, переехал на жительство в Москву, эти настроения не исчезли. Они принимали в разную пору оттенок модного среди городской молодежи толстовства или окрашивались в не менее популярные социал-демократические тона. Скажем больше: молодой художник при всем его цветущем таланте вряд ли завоевал бы всего несколько лет спустя столь широкое признание, получил дорогу в наиболее известные журналы, не коснись его сокровенного мира также и смутные веяния «века сего». Только в отличие от городских его собратьев он переживал нарастание «всемирного подлога» прямо из глубины народного мира. Тут подменялась почти незримо уже святая святых национальной судьбы, так волшебно осветившая собой творчество поэта.

Из поколения в поколение русские люди жили сознанием того, что, хотя и стремятся они уже на этом свете следовать Евангельскому идеалу братства и любви, все же прекрасная вселенная, где им довелось родиться, их поиски всеобщей справедливости есть только бледное, несовершенное подобие Царствия Небесного – мира вечной правды и красоты. Рано или поздно, верили они, придет, по откровениям Священного Писания, никому не ведомый миг. То будет конец света и второе сошествие к людям Христа Спасителя. Тогда сгорят осквернённые грехом старая земля и небо, уничтожится в мире все нечистое, настанет Царство Божие на земле. В этом заново сотворенном мироздании обретут бесконечное блаженство праведники всех времен. Собственно, ожидание последнего торжества над смертью, тленом, страстями дольнего мира, неусыпная забота о его стяжании стали главными причинами русского духовного расцвета.

Именно такое тысячелетнее ядро национальной жизни и стремился теперь сокрушить лукавый дух времени. Делалось это, увы, не без успеха. В России, конечно, оставались – не могли не остаться – настоящие светочи Православия, тем более заметные среди густеющего мрака. Но во многие сердца уже закралась уверенность, что земное подобие Божественного совершенства ни в чем не уступает вечному добру, что возможен рай на земле, построенный самим грешным человеком. Новые верования новой эпохи причудливо и коварно проникали

в души современников, оплетали собой вековые, священные понятия, паразитировали на самых живых основаниях народного бытия.

По-отечески светлое восприятие мира очень скоро обернулось у Есенина желанием поклониться не Творцу, но только Его творению, воспеть словно сам по себе прекрасный белый свет. Православное чувство и безоглядная приверженность земному раю заявляли о себе почти одновременно, в соседних по написанию его стихах, иногда – в одном и том же произведении. Подобное смешение полностью несовместимых начал создавало тревожное поле не осознанного самим художником внутреннего конфликта, широко вобравшего в себя всю напряженность эпохи.

Законы духовной жизни, те, что направляют судьбу каждого народа и человека, едины для всех – национального гения или простого смертного: еще никому на свете не удавалось быть слугой сразу двух господ. Есенин делал выбор под стать миллионам современников. Христианское начало почти незаметно вытеснялось у него в поэзии началом языческим, «перетекало» в настоящую религию мирского блаженства. Она, разумеется, имела корни в «народном православии» – исконно русском исповедании веры, которое не отвергло, но подчинило себе, смирило за долгие века иные древнейшие обычаи славянских племен. Деревенские обряды, искусство хранили на себе их печать. Тем не менее это безвредное некогда язычество обретало теперь у Есенина, (как и в жизни русского села) новое дыхание, заслоняя собой подлинный источник любого блага. Привычка обращаться к родным святыням неизменно «говорила» в душе поэта, но с каждым годом, даже месяцем, они все больше «затуманивались» в ней, утрачивали настоящую свою природу.

Одухотворенная красочность его лирики часто напоминала в те времена изобразительный язык русской иконы. Между тем «иконописный стиль» молодого Есенина, подобно творческой манере художника одной с ним поры, К. И. Петрова-Водкина, представлял собой словно перевернутое, исподволь потерявшее (или готовое потерять) единственно возможную для него перспективу древнее возвышенное искусство. Если церковная живопись во все века стремилась воплотить непостижимое, совершенное и вечное, то «новые богомазы», искренне очарованные родной землей, избрали своим предметом осязаемую реальность, которую они, применяя традиционные приемы, отеческую символику, почти молитвенно возводили до степени божества.

Может быть, ярче других такую смену духовного центра в есенинской поэзии ранних лет отразила признанная ее вершина – стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…». Это восторженное признание в любви было адресовано той стране, которая, верил Есенин, как ни одна другая в мире, запечатлела на себе образ Божий. И он находил для нее лишь его дарованию послушные, таившие в себе одновременно несколько смыслов, богатые, многомерные определения. Когда он говорил: «Хаты – в ризах образа», тут имелось в виду не только солнце крестьянской избы – лики святых угодников, но также очевидное для поэта: изукрашенный резьбой сельский дом – это своего рода земная икона, прообраз вечности. Когда приводил сравнение: «Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля», это можно было прочесть и в самом прямом, явном смысле, а можно было понять и так, что паломник пришел поклониться теплым родным просторам, более того, предположить, что сам он – только временный гость на божественно просветленной земле. Такие смысловые ряды выстраивались постоянно.

Способность «обнимать» считанными словами огромное содержание вела Есенина к непреходящей ценности открытиям. И все-таки художественный образ в каждом из этих случаев, отдавая дань прошлому, устремлялся к новому идеалу, заключал в себе возможность внутреннего перехода, даже разрыва с вековыми ценностями русской жизни. Святыня потому и выглядела здесь настолько яркой, что это был ее «прощальный» свет, напоследок увиденный путником, уходящим от нее вдаль. Заключительные строки есенинского шедевра

не оставляли сомнения на этот счет. Сияние Святой Руси в ее земном обличье рисовалось поэту таким безбрежным, что он, кажется, готов был пожертвовать и самой причиной ради открывшегося ему непостижимо прекрасного следствия:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Как бы ни расцвечивалась «христианскими узорами» эта молодая фантазия, выходило, что жить на свете – значит уже вселиться в райские кущи, вполне соединиться с Богом.

Есенин мог создать на первый взгляд христианскую по духу зарисовку:

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

А между тем священное имя выступало в ней прежде всего как метафора, необходимая для более рельефного показа язычески прекрасной земли с ее ветром, листвой, гроздьями рябины – всего, что мощно завладело вниманием художника.

Это не была всего лишь прихоть его поэтического сознания. Говоря о своем Христе: «Он зовет меня в дубровы, Как во царствие небес», Есенин, очевидно, устремлялся в те же духовные леса, что манили тысячи и тысячи современных ему богоискателей. Уподобляя русский пейзаж: солнце, ветер, ели, сосны – входу Господню в Иерусалим («Кто-то в солнечной сермяге На осленке рыжем едет»), поэт выражал единые для многих призрачные ожидания. Готовился вместе со страной петь осанну обольстительному духу природы, духу времени, который под видом Христа все ближе подступал к Новому Иерусалиму – праведной Руси.

Стоя «на туманном берегу» вместе с любимым до боли отечеством, поэт не мог не испытывать «холодной грусти», не мог не страшиться за будущее родины. Тревога и радость, горькие раздумья и предвидение солнечных дней – все это разом возникало из чувства собственного неуклонного участия «в паденье роковом». Летом 1916 года Есенин, призванный в армию и проходивший службу санитаром Царскосельского госпиталя, читал стихи, написанные им по этому случаю, ныне причисленным к лику святых императрице Александре Федоровне и великим княжнам. Как всегда у него, художественный образ и тут говорил о многом. Посвященные августейшим сестрам милосердия, эти строки за их простым, очевидным смыслом таили в себе едва ли не пророчество. О святой участи царской семьи, страшных годах России, о недалекой уже мятежной поре в жизни самого поэта:

Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

* * *

На исходе февраля 1917 года грянула катастрофа. Веками незыблемая плотина обрушилась под напором все набиравших силу губительных миражей. Падение самодержавия полностью «вынуло» из национальной судьбы ее духовный стержень и опору, опрокинуло в миллионах сердец живые ценности русского мира. События таили в себе целую череду будущих потрясений: по стране разливались войны, усобицы, голод, болезни. Антимир имеет свою логику развития. И все же мало кто сознавал понесенную утрату. Многие россияне ликовали, как дети. Зачарованно ждали прихода лучших времен, поздравляли один другого, говорили о братстве, о любви. Возмущенный разум рисовал картины близкого земного рая, рождал настоящие галлюцинации, где осколки христианского понимания вещей откровенно ставились на службу идеалам новой эпохи. Поэзия Есенина – верный голос народной души – оказалась в эпицентре общего помрачения.

За короткие недели она испытала решительные, бурные перемены. В ней произошел сокрушительный взрыв до времени скрытого языческого начала. Неопределенные упования мирского блаженства получили теперь характер полного, всеобъемлющего заблуждения – утопической мечты, которая пленила дар поэта. Образы его стихов, столь объемные прежде, перешли в одну-единственную и потому кричаще яркую земную плоскость. Послушный головокружительным настроениям, стал заметно иным ритмический рисунок лирики, поэм. Созерцание бытия сменилось прямым соучастием в «перевороте вселенной». Есенин не столько постигал новую Россию, сколько выражал ее страстный, болезненный дух.

Весь первый год революции, когда он, самовольно покинув армию, проживал в Константинове, Петрограде, путешествовал по Русскому Северу, его творческий мир больше и больше вбирал в себя грозовое дыхание смуты. «Родине кроткой» здесь попросту не осталось места. Все захватила «буйственная Русь». Лишь иногда, словно очнувшись, поэт замирал в тяжелом недоумении: «Где ты, где ты, отчий дом?..» И снова летел мечтами в желанное будущее страны, больше – целого мироздания. Было страшно, легко и весело, как на огромной, через всю планету несущейся карусели.

Истина всегда едина, нераздельна в ее цветущем богатстве. Она рождает любовь и согласие. Обман, подлог всегда многолик и раздроблен в собственной нищете. Искатели «грешного рая» всех времен блуждали каждый по-своему. Так и в России 1917 года невесть куда устремленные надежды современников сотнями произвели на свет близкие по сути, но вечно враждующие между собой представления о завтрашнем дне. Среди этого хаоса, привнося в него черты своей индивидуальности, метались художники, писатели, поэты. Многим из них казалось тогда, что революция – это прямое продолжение Святой Руси. Иные считали: с наступлением Февраля сам Христос явился в мир, чтобы очистить его бедами и мятежами. Настал, верили они, предреченный Евангелием Страшный Суд и обновление всего сущего.

Есенин тоже думал о конце старого света и рождении другой земли. Но его понятия (иначе и быть не могло!) отличались от тех, что имели Александр Блок, Андрей Белый и другие старшие собратья поэта. Есенинская утопия несла в себе ярко проступившие приметы крестьянского взгляда на происходящее, отражала перелом сознания у самой коренной, наиболее многочисленной части русского мира. Она рядилась в пасхальные цвета народного искусства, использовала вековые образы и поэтические приемы. Со всей увлеченностью молодых сил художник приветствовал близкое уже, грезилось ему, появление в России «дорогого гостя», «чудесного гостя» – именно так, ожидая второго пришествия, веками называла Христа Спасителя отеческая, не сохранившая имен своих создателей духовная поэ-

зия. «Освобожденный» новыми ветрами от его православной природы, образ этот получил у Есенина совершенно иное, антихристианское звучание.

Мало когда еще за свою короткую судьбу Есенин переживал такой силы творческий подъем, как в этот неистовый, грозный год. Из-под его пера, помимо большого числа лирических стихов, одна за другой выходили поэмы: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», в которых мечта о мужицком рае – земле плодоносящих полей и стад – обрела грандиозный, космический масштаб. Сознание поэта рисовало воочию слияние, «воссоединение» Царства Небесного и дольнего мира. Помраченному гению чудилось: изба крестьянина с ее резным коньком на крыше прямо въезжает в райские врата. Ветхий и Новый Завет, русский фольклор, живые впечатления современности – все сливалось в чарующие сны, видения «третьего завета», несущего людям исцеление от скорби, духовной поврежденности, любого зла.

Искренний художник, он всегда шел до конца в собственных прозрениях и ошибках. И по мере того как волна за волной Россию захлестывала смута, Есенин был обречен высказывать со всей прямотой подлинное существо дорогих ему соблазнов. Так, в начале 1918 года (октябрьский переворот уже полностью расставил точки в намерениях и целях революции) появилась «Инония» – откровенно богоборческая поэма. Молодой «ясновидец» наконец-то признал, что его грезы о сказочном вертограде не имеют ничего общего с духом Православия.

Дни напролет читая Библию, особенно Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), книгу, где с наибольшей полнотой сказано о конце света, он, словно в мистическом трансе, вычитывал из нее лишь то, что сам хотел прочесть. Собственно, так поступал в те годы не он один. Великая духовная держава еще долго не отпускала своих сынов, даже в падении готовых искать оправдание себе и другим на страницах Священного Писания.

Предсказанный в Библии приход на землю посланца сатаны, «человека греха» – антихриста, Есенин перепутал с Божиим Царством, которое наступит в час посрамления наглого беззаконника, его слуг. Последнее время все к тому и шло. И вот «гость чудесный» сбросил личину, предстал как явная демоническая мечта о «новом спасе», о городе и царстве, где он будет править. Инония – это и есть иной град, иная страна. Такое слово придумал для нее поэт. В грохоте и какофонии земного переворота он внезапно ощутил себя пророком. Собственную одержимость принял за праведность. Решил создать новую главу, как полагал, недостающую в Писании. А заодно перечеркнуть будто бы изжитые человечеством евангельские истины. Он силился придать своему голосу апокалипсическую мощь. Он хотел усвоить грозный язык подлинного Откровения.

Вышла дикая пародия: талантливая, как все им написанное, и оттого особенно кощунственная и страшная. С безоглядной лихостью и задором ослепленной русской души Есенин разорял в себе и в мире доставшийся ему от предков Новый Иерусалим, поносил непотребными словами Святую Русь. Нечистый дух и в самом деле водил его рукой, нацеливал внимание на самые высокие ценности бытия. «Не хочу страдания, смирения, сораспятия», – говорил художник далеко не чуждому темным увлечениям эпохи, но все же изумленному гримасами есенинской музы Александру Блоку. «Ревущие» краски поэмы возглашали радостную, счастливую эру, грешный рай без Христа:

Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!

Едва ли «пророк Есенин Сергей» ведал, что творил. В ту пору человек совершенно трезвой жизни, он грезил, как в горячке. Его распаленному воображению представал «незримый коровий бог», который избавит мир от христианского искупительного пути («Разгвоздят мировое кипение Золотые его рога»), и посланец невиданного зверя – мессия верхом на кобыле. «Надо было слышать его в те годы, – рассказывал современник, – с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную «Инонию». Между тем художник всего лишь честнее многих, в силу его способности во всем доходить до корня, прикасаться к потаенной сути вещей, выговаривал почти повальное отступничество.

Его поэму завершали, в общем, не свойственные есенинской стилистике, произнесенные словно от имени всех вместе взятых россиян гордые, воинственные слова: «Наша вера – в силе. Наша правда – в нас!» «Медиум» Есенин чутко уловил то, что носилось в воздухе. Тут звучала монолитная формула исторического времени. Как бы ни называли себя дети русской революции, какие бы задачи перед собой ни ставили, все они бросили вызов Творцу, повели, говоря словами К. Маркса, одного из давних устроителей вселенского пожара, титанический «штурм небес». Решили утвердить новый мировой порядок. Вознести человека на место Божества. Переменить ни много ни мало источник жизни и света. Последствия не заставили себя долго ждать. Россию накрыли сумерки. Не только ночные (в городах очень скоро погасло электричество), но сумерки духовные, беспросветные ночью и днем. Столь же сумеречным стал после «Инонии» поэтический мир Есенина.

В потемках одному неуютно и страшно. За компанию легче. Да и время голодное, злое заставляло сбиваться тесней. Художественные группы вырастали десятками. Зимой 1918/19 года Есенин и с ним несколько поэтов далеко не первой величины – Анатолией Мариенгоф, Александр Кусиков, Вадим Шершеневич, Иван Грузинов – образовали в Москве, столице Советской России, творческое объединение имажинистов. Название произвели от французского слова image – образ. Вместе держали на Тверской поэтическое кафе «Стойло пегаса», книжную лавку вблизи консерватории, вместе выступали, шумели, печатали скандальные манифесты и декларации. Был случай: размалевали собственными цитатами из тех, что похлеще, стены Страстного монастыря. Потом долго потешали воспоминаниями об этом друг друга и знакомых. Поступки и общая поэтическая платформа расходились незначительно.

Образ лежит в основе всякого творчества. Имажинисты, отделяя себя от современных им художников, писателей, поэтов, имели в виду образ особого рода. Они провозгласили безраздельную власть метафоры, сравнения. Выразительное средство назвали смыслом и целью искусства. Придали ему неподобающее царственное значение. По сути, это означало все то же, в духе времени, возвеличивание гордого человеческого «я», которое творит метафору, стоит за метафорой.

Гениально одаренный мастер, Есенин, конечно, не мог уместиться в рамки новой школы – «художественного ордена», как называли его сами юные вольнодумцы. Невысокий, особенно рядом с тощим и длинным Мариенгофом, он все равно был среди них (не потому ли они так плотно обступили этот источник живой энергии?) подобен великану. Создавать прихотливые «словесные узоры» он стремился не меньше любого из них. Только там, где иные из «буйных зачинателей эпохи российской поэтической независимости» (слова очередного манифеста) видели возможность поразвлечься, для него дело шло о жизни и смерти. Его собратья затевали клоунаду, временами похожую на чудовищный фарс. А он болел стихами, иначе он просто не мог.

И атеист, бывает, воскликнет: «Господи!» За спиной великого художника находилась, хотя и перевернутая до основания, все же тысячелетняя русская культура, священная русская речь. Впрочем, особенных иллюзий это обстоятельство тоже вызывать не могло.

Дар слова – таинственный и обоюдоострый. Истинное значение таланта не в самом таланте, а в том, куда он устремлен. Сердце поэта, сознательно или нет, обращается к Небесам – и в художественном слове оживает вся красота творения, предстают тайны вселенной, блистает сам непостижимый Создатель миров. Так рождаются «божественные глаголы». Сердце поэта тонет в пучине страстей – и слово, сколь бы ярким оно ни казалось, тускнеет, меркнет. От него отлетает дух вечности. Обладателю дара оказывается нечего петь, кроме собственной падшей природы, сопричастной грехам человечества. Есенин выбрал этот последний путь. И русский язык его поэм, стихотворений почти утратил свою святыню. Отныне в нем звенела, хрипела, визжала, в нем ликовала и грустила поверженная душа.

Мир чувственный, звериный переполнил собой его лирику, большие и малые поэмы революционных лет. Вещественными, «телесными» стали их метафоры, олицетворения. Потребность любви, неистребимая в людях, утратила связь со своим источником. Она поневоле искала теперь выхода в теплой привязанности ко всему, что плодится и множится. Художник ощутил глубокое родство с беспокойным океаном «разумной плоти». Сделался чутким до надрыва к ее радостям и страданиям. То желал обернуться деревом. То погружался в переживания суки, у которой утопили щенят («Песнь о собаке»), и готов был кричать всему свету о неподдельном собачьем горе. Так часто бывает, когда человек, не важно, почтенный с виду гражданин или явный уголовник, попирает в себе образ Божий. Он уже не сочувствует всякой твари, он становится с ней заодно.

Животные, деревья, травы не ведают о нравственных нормах. Они послушны инстинктам и чутью. Стоит людям возомнить, что они – только часть «естественного» мира, хотя бы и высокоорганизованная, как неизбежно возникает желание выйти из привычных, «необязательных» рамок бытия.

Революция сметала их одну за другой. Главным лицом эпохи оказался хулитель, охальник, нарушитель спокойствия. Нисхождение «в душу природы» соответственно изменило и характер поэтического героя Есенина. Теперь это был хулиган: вызывающе бурный, правда готовый, скорее, по-братски обнять все сущее под солнцем, чем расположенный к ненависти. Русская отзывчивость и тут не изменяла Есенину. Его «хулиганство» всегда несло в себе словно искру лукавой насмешки художника над собой. А все-таки хулиган есть хулиган. Это слово ирландского происхождения традиционно читалось по-русски как «беззаконник», «творящий бесчинство». Оно стало неотрывным от понятия «хула». Отечественной литературе и привидеться раньше не могли смелые признания, которые делал не моргнувши глазом лирический «двойник» поэта: «Только сам я разбойник и хам И по крови степной конокрад».

Чувство живой, трепетной плоти неизменно сливалось у Есенина той эпохи с чувством родины, деревянной Руси. Между тем русская сентиментальность, русское буйство (направляемые чуткими организаторами смуты) принесли в мир плоды, поистине вызывающие дрожь. Уже летом 1917 года, когда поэт начинал созидать свой «крестьянский апокалипсис», по стране потекли первые реки крови. С 1918 по 1922 год Россия захлебнулась в ней. Нельзя сказать, что Есенин закрывал глаза на происходящее. Другое дело, в ложном свете его «пророческих видений» даже самые жуткие события долго представлялись «родовыми муками» будущего рая. Вот-вот, казалось, красный конь – воплощенная мужицкая мечта, – играя в оглоблях, понесет землю навстречу этому раю. Где-то на рубеже 1919–1920 годов художник с ужасом понял: желаемое блаженство так никогда и не начнется.

Деревня умирала. Ее разорили, свели под корень война, моровые поветрия, бандитизм, продовольственные отряды, выгребавшие хлеб до последнего зернышка. Можно ли перечислить все беды, что поразили заблудшую русскую землю? Поэт не хотел, не мог верить, что эти сродни кошмару, но вполне реальные явления суть порождение и развитие одного, им же испытанного, соблазна. Он переживал внезапно увиденную катастрофу все еще из глубин своего утопического мироощущения, воспринимал ее в плоскости чисто горизонтальной.

При этом он оставался верным сыном по-прежнему самой дорогой для него среды. Не борьба человека с Богом, а битва железного города и соломенного, теплого села казалась ему причиной грянувшей беды. Городская диктатура «кожаных курток», видел Есенин, истребляет почву, на которой впервые пробилась его языческая мечта, убивает, калечит живое, плотское существо этой мечты.

«Хулиганские выходки» в этом свете получали новую окраску, выглядели последним отпором, отчаянной попыткой защитить то, что было обречено. «Нежный хулиган», высоко вскинув «золотую голову», начинал неравный спор с хулителями жестокими, беспощадными.

Тема роковой схватки непримиримых противников прозвучала у Есенина на пределе человеческих возможностей. «Я последний поэт деревни…», «Песнь о хлебе», «Мир таинственный, мир мой древний…» («Волчья гибель») – те стихи, где поэт прощался с дорогими ему обителями, кажется, навсегда. Он воспевал «последний, смертельный прыжок» затравленного волка, он сокрушенно «выплескивал» свою горечь и тоску. В 1920 году появилась маленькая поэма «Сорокоуст» (Православная Церковь называет так ежедневный, в течение сорока дней, молебен за здравие или поминание за упокой) – настоящий плач по уходящему в небытие русскому селу.

Понятно, что это был такой же сорокоуст, как «Исповедь хулигана», написанная с ним почти одновременно, – христианская исповедь. Вместо священного трепета – гордость, вместо смиренного обращения к Богу – дерзкие слова, брошенные «в чужой и хохочущий сброд»… Тем более обжигающим, безысходным оказался пафос еще одной «нераскаянной» поэмы.

Ее центральная картина, собравшая воедино все лучи произведения – бег жеребенка в отчаянной попытке обогнать паровоз, – высвечивала ни много ни мало колоссальную драму на просторах России. Вспышкой, которая зажгла поэтический образ, в этом случае явилась подлинная сцена, увиденная из окна поезда, когда поэт вместе с группой имажинистов ехал в том же году на Кавказ. И ему представились вмиг вымирающая деревня, и «лик Махно» – вождя крестьянского движения на Украине (он сам говорил об этом), и, вероятно, близкая тому, во что верили махновцы, его собственная мечта побежденными, как этот маленький жеребенок. «Конь стальной победил коня живого», – горько признавал Есенин.

Трагический смысл посвященной «празднику отчаянных гонок» небольшой главки поэмы оказался гораздо шире. Не исчерпывали его и пристрастные понятия художника. Отдавал он себе в том отчет или нет, он увидел до ужаса рельефно столкновение «в полях бессиянных» двух граней одного соблазна: «избяной» и железной. Поезд и «красногривый жеребенок» неслись в одном направлении, к одной цели. Но «красный конь» уже исполнил свое дело. Надобность в нем теперь отпала. Мировой подлог двигался дальше, набирал бешеное ускорение. В недрах разделившейся утопии кипела смертельная борьба. Одна сторона терпела крушение, другая спешила извлечь из ее гибели осязаемую пользу. Просто пускала под нож, обращала в «тысячи пудов конской кожи и мяса». Вот и все. И не было в поэме, как не было в России (почти не было), правых. Только «хула» – торжествующая или побежденная. Разве не отсюда вырастала гнетущая скорбь есенинского «Сорокоуста»?

Братоубийственная война – «черная жуть» – разрывала русскую землю на части. Сыновья одной родины, проявляя чудеса героизма, резали друг друга, не зная пощады. Красные, белые, зеленые, Махно, Антонов (несть конца именам и краскам!) были между тем частными проявлениями некой более общей силы, уходящей корнями в историю смут на Руси. Может быть, наиболее внятно для современников среди возможных ее определений звучало памятное с XVIII века слово «пугачевщина». Большая драматическая поэма, над которой Есенин работал в 1921 году, так и называлась – «Пугачев».

Ошеломляющий, страстный накал выделял это произведение даже среди других «раскаленных» его созданий той эпохи. Всегда великолепно читавший на публике свои стихи, может быть и в этом отношении первый среди современных ему мастеров слова, он показывал знакомым рубцы на руках: «Когда читаю «Пугачева», так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови». «Революционная вещь», какой он задумал новую поэму, не могла иметь иного звучания. Есенин добился в ней редкой завершенности, безупречно свел все частные элементы к единому духовному центру. Это глубинное ядро дышало испепеляющим жаром революции. В определенном смысле сама русская революция заговорила тут «на разные голоса» о собственной сути, путях движения. И подошла, подвела художника на самый край зияющего впереди обрыва. Сообщила подноготную правду о себе. Заставила делать неутешительные выводы.

Пугачевщина во все времена означала одно: обман, подмену, самозванство перед Богом и людьми. Исторический вождь крестьянской войны недаром именовал себя императором Петром III. Еще всецело поглощенный своими языческими грезами, Есенин написал однажды явно «выпадающие из действительности» неожиданные строки: «Душа грустит о небесах. Она нездешних нив жилица». Художественный мир новой поэмы от начала до конца принадлежал иной, перевернутой духовности. Человек на ее страницах весь «прилепился» к земле. Соответственно тут не было солнца. Действие происходило во тьме: то звенящей, холодной, а то первобытно-теплой. Лишь иногда сцена освещалась отраженным светом луны. И поэтический язык Есенина, ни с чем не сравнимый язык «Пугачева», до предела насыщенный сложными, почти невероятными метафорами (поэма, безусловно, венец имажинизма), был как заново изобретенная речь потонувшей в «сумерках плоти» человеческой души.

Безграничный разлив животного начала в мире – этого хотел и добился есенинский Пугачев. Товарищи героя по разбойной судьбе: Зарубин, Караваев, Торнов (это все подлинные имена – поэт изучал материалы о Пугачевском восстании), каждый по-своему «расцвечивали» общую для них «звериную правду». С появлением беглого каторжника Хлопуши она получала характер судорожного экстаза, в котором слышались волчье завывание, волчий устрашающий рык. А впереди брезжил зарей восход, наступление мужицкого счастья и воли.

Перелом в развитии поэмы происходил внезапно – стоило ее героям, разбитым наголову, испытать прямую угрозу собственному существованию. Животный ужас, паника пронизывали надсадный крик бунтовщика Бурнова, никак не желающего терять надежду:

Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради Бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

Мечта не сбылась. Рай на земле предполагал вечное цветение, вечную силу и славу телесного бытия. Но человек, его земная плоть, но природа, ее зеленое буйство – они рано или поздно должны умереть. Люди не в силах перейти положенный им предел. И бунтовщики, не ведавшие ничего иного, кроме этой жизни, этого мира, выдавали самозванца властям. Пугачев видел воочию, что неизбежная осень, неизбежная смерть «подкупила» его сообщников, готовых любой ценой сохранить то, что и составило движущую силу бунта, – свою плоть, свой живот. Он становился жертвою им самим посеянной бури. Последний монолог поверженного героя содержал поистине страшное открытие:

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось… казалось еще вчера…
Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…

Вот так же развеялись в дым некогда радужные настроения художника. Тема утраченной молодости, «сгибшей надежды» уже никогда не покидала его. Словно опережая многое из написанного Есениным позже, в год создания «революционной исповеди» – «Пугачева», появилось богатое и строгое «Не жалею, не зову, не плачу» с его печальными, простыми словами: «Все мы, все мы в этом мире тленны». Истиной, нелегко давшейся поэту.

Крушение мечты, которой отдал себя по-русски весь, без остатка, честное признание того, что «красный конь» изначально обречен, было для Есенина равнозначно жизненному концу. Потерянность и пустота, предсмертное томление сердца – вот что осталось от былого ликования. Именно в ту пору он заболел роковой страстью к вину. Она то слабела потом, то вспыхивала опять, но уже не отпускала его по-настоящему.

Самый тягостный период своей судьбы, когда узнавались одно за другим страшные последствия былой ошибки, Есенин провел за границей. До этого женатый два раза, он путешествовал теперь по Европе и Северной Америке вместе с новой женой, как сам он, скандально известной, «женщиной сорока с лишним лет», американской танцовщицей Айседорой Дункан. За время поездки, с мая 1922 по август 1923 года, были написаны несколько стихотворений, возникла первоначальная версия поэмы «Черный человек», продолжалась еще в Москве задуманная драматическая поэма «Страна негодяев» – одно из наиболее глубоких его созданий. Отныне поэт «не строил себе никакого чучела», прямо смотрел действительности в глаза. Видел свою жизнь, видел Россию такими, какими они стали в результате прошедших лет. Содрогался, не ведая обратного пути. Но и поблажек никому не делал. Прежде всего себе самому.

На страницах «Москвы кабацкой», поэтического цикла зарубежной эпохи (позднее он вошел в одноименную книгу стихов), было не узнать прежде задиристого хулигана. Он проходил, «головою свесясь», подавленный, растерянный. Почему? Этот повеса, по его собственным понятиям, не имел в прошлом ничего настолько ужасного, чтобы теперь «хоронить себя» («Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам»). Он любил и жалел все живое. Тем не менее он не заблуждался на свой счет. Что отъявленный душегуб, что «московский озорной гуляка» – их ожидала сходная участь. Сказанное в кругу бандитов и проституток: «Я такой же, как вы, пропащий», звучало не только пьяной бравадой. Тут говорило позднее прозрение.

Поэт прикоснулся к темным тайникам вселенской утопии. У нее было множество имен: мужицкий рай, эдем, Интернационал. Только цель во все века оставалась одной и той же: завладеть человеком навсегда, предать живую душу адскому огню. Для того и нужно было мировое обладание. Вожделенная некогда Инония предстала как она есть. Есенин различил наконец жуткую подоплеку своего «чудесного гостя». Истинное лицо хорошего знакомого оказалось невыносимо пугающим.

Черный человек, «прескверный гость», посетил его художественный мир. Он явился герою одноименной поэмы прочитать «мерзкую книгу» его постыдных деяний, отнять у него малейшую надежду на спасение. Незваный ночной пришелец выворачивал перед окаянным грешником всю демоническую, им же вдохновленную, сторону его жизни. А разве что-нибудь, кроме нее, осталось? Глумясь над жертвой, он вспоминал о каком-то мальчике, «желтоволосом, с голубыми глазами», дразнил ее такой возможной вначале, но потерянной навсегда праведной дорогой. Брошенная в него трость не приносила герою освобождения.

Разбивала зеркало, и только. Потому что черный человек был его вторым «я», говорил прямо из сердца, предвкушая над ним вечную власть.

Не желавший «страдания, смирения, сораспятия», Есенин мог теперь убедиться воочию, куда ведет человека безумное поклонение собственным силам. Не он один усваивал горькие уроки. Его стихотворения, поэмы заключали в себе огромное общенациональное значение. В них тосковала больная русская совесть. Новые стихи (а впрочем, так случалось постоянно, что бы он ни написал), равно волновали, равно терзали всех, кто еще не умер душой до конца, – и победившего красноармейца, и выброшенного за пределы России белого эмигранта где-нибудь в Берлине. Поэт затрагивал такие пласты, рядом с которыми выглядели ничтожно малыми любые политические разногласия:

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

Была развеселая «буйственная Русь», а на поверку вышло – «страна негодяев». Теперь вот они «пьют, дерутся и плачут». Заглянули «роковому» в лицо. Поняли, хотя бы смутно, что сотворили над родиной и над собой, какое сокровище отвергли, отдали врагу. И поправить ничего не могут. Оттого и «жарят спирт» в кабаках парижских ли, московских. Ищут и не могут найти забвения. Даже тот, кто не делает ничего подобного, разве не принадлежит и он безобразному русскому кабаку? Народная Россия былых веков («озорные» частушки не в счет) знать не знала «блатных» песен. Их считала своими разве что узкоограниченная, всеми осуждаемая среда. Начиная с революционного времени на десятилетия вперед они стали говорить о чем-то очень существенном сразу многим. Художник только умел во всю мощь данного ему голоса, возвышаясь над этим морем падшего фольклора, пропеть единую вину, единую боль: сжигающую, неотступную.

А все-таки на донышке разбитой в кровь души у него, подобно миллионам соотечественников, не угасла еще в далеком детстве затепленная лампадка. Без нее и черного человека было бы в себе не разглядеть. Он так и остался бы на всю жизнь гостем дорогим, желанным. Вернуться к теплой вере отцов после всего, что случилось, в окружении всего, что есть, казалось, увы, невозможным. Но, единственное утешение грешников, она все равно звала к себе. Не по старой памяти, не ошибкой приходило Есенину, как, наверное, многим еще в то глухое время, главное и последнее, целой жизнью выстраданное пожелание:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Долгие шесть лет, пока Есенин возводил свой поэтический рай, а потом переживал его уничтожение, Россия шла дорогой Христа, восходила на Голгофу.

Год 1922-й по всем приметам стал годом торжествующей смерти. Миллионы убитых, выкошенных голодом, болезнями. Разоренное в прах городское и сельское хозяйство. Тысячи бездомных сирот. Полная душевная контузия, часто озверение и одичание тех, кто уцелел. Железная утопия, логический финал былого прекраснодушия, казалось, покорила себе все и вся. Завладела телом и душой могучего некогда народа. Посеяла ядовитые семена в юных сердцах. Раскинула по стране сатанинскую сеть ВЧК – ОГПУ, чуткую к любым колебаниям почвы, готовую карать малейшее отступление от жестоких «правил игры».

Но великая тайна русской истории продолжала сбываться. Россия словно в самой гибели своей находила силы для возрождения. Пребывающий в народной душе источник света не был затоптан и предан забвению. Страдания невинных мучеников, страдания «малого стада», которое осталось до последнего дыхания верным Христу, принесли политые кровавыми слезами целебные плоды. Мрачные 20-е годы стали эпохой, где забрезжил робкий луч надежды.

События такого, не меньшего, масштаба отзывались в есенинском «умирании» тех лет. И, во всем созвучная жизни страны и народа, его поэзия тоже заключала в себе огромную силу очищающего страдания – залог недалекого уже творческого поворота. Художник вовсе не утратил изначальную способность открывать в родном русском мире, искалеченном, обезображенном, вечные, неувядающие истины.

Увиденное за рубежом только сильнее убедило Есенина, что судьба России есть по-прежнему особая, горестная и светлая судьба. «Родные мои! Хорошие! – писал он знакомым из Германии. – Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать – самое высшее мюзик-холл. <…> Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину». Впрочем, поэт не только увидел «закат Европы», не только высмеял, в духе Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, гоголевские нравы американцев. Зоркий наблюдатель, он заметил: по ту сторону океана «растет что-то грандиозное», тем более зловещее в нечеловеческой его пустоте.

Возвращение на родину летом 1923 года стало для него не просто прибытием домой из дальних стран. То было – в ином качестве, в иную эпоху – возвращение на круги своя. Ожоги минувших лет, жестокая реальность сегодняшнего дня, конечно, давали знать о себе. И все же творчество Есенина испытало, казалось, почти невозможную смену «фокуса». Его поэзия, обогащенная зрелым мастерством признанного художника, опытом пережитых ошибок и скорбей, возвращалась к своим истокам.

* * *

Он вернулся в Россию другим. Об этом говорили уже стихотворения поэтического цикла «Любовь хулигана» (всего их было семь), написанные осенью по приезде. Поводом для их создания стало неожиданно «тихое» знакомство Есенина с актрисой Августой Миклашевской. Может, все обстояло как раз наоборот и это сама поэзия, нечто огромное, что пробуждалось в ней, вызвала наяву недолгие встречи в золотой осенней Москве? Может быть, поэт хотел наделить реальную женщину чертами заново обретенного творческого идеала? Как бы то ни было, эти отношения мало походили на те, что возникали у него в минувшие, а то и в будущие годы. Иными оказались и рожденные под их светом проникновенно теплые или сумрачно безнадежные, всегда таинственные стихи.

До этого, если не считать отдельные произведения юношеских лет, Есенин почти не писал любовной лирики. Теперь удивляло не столько погружение его поэзии в неизведанную ранее область, сколько ее кроткая, едва ли не смиренная интонация. Не прошло и года с той поры, когда он, словно задыхаясь в чаду, выкрикивал: «Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал, что любовь – чума». И вот прояснилось – то вовсе не о любви было сказано. Герой очнулся. Ничего другого он так не желал отныне, как мира, понимания, тишины. Он прощался с былым хулиганством. Странным было его чувство: невоплощенное, оно осталось жить, растопило, смягчило сердце. Иначе и быть не могло. Тут заговорила единственно сущая любовь: неземная, вечная. Та, что ищет и находит присутствие Творца во всем миро-

здании. Она проснулась в душе, еще загроможденной обломками катастрофы, лишь едва выходящей из потемок. То ясно светила, а то пропадала из виду. Но забыться уже не могла. «В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить» – это звучало как твердо сделанный выбор.

Вполне очевидно: намеченный новыми стихами духовный поворот не только принес поэту радость исцеления, вернул ему «прозрений дивных свет», но и грозил бедою. Внутреннее обновление художника протекало в обстановке победившей утопии. Она-то уж никого не выпускала из поля зрения, стремилась «поставить под ружье» любой мало-мальски значимый талант. Революционный поэт Есенин с определенными оговорками был для нее своим. Теперь, когда «прескверный гость» явно терял свою власть над сокровенными ключами его поэзии, верные слуги этого гостя забеспокоились.

Художник скоро испытал хорошо подготовленный натиск по нескольким направлениям сразу. Его настойчиво пытались направить «в нужное русло». С другой стороны, вызывали на пьяные скандалы (некоторые из них, как сегодня установлено, были искусно спровоцированы) и привлекали затем к судебной ответственности. В течение полугода, с ноября 1923 по апрель 1924 года, против него возбудили пять уголовных дел. То и другое отзывалось кампанией травли в печати с незатихающими обвинениями в мелкобуржуазном, кулацком уклоне, упадочничестве и национализме. К этому добавлялась почти фатальная бытовая неустроенность в перенаселенной Москве тех лет: без комнаты, даже собственного угла, Есенин так и скитался по знакомым.

Нет сомнения, он искренне хотел найти в наступившей действительности только ему подобающее место, по-своему вписаться в эту пришедшую основательно и надолго «красную новь». Собственно, похожую задачу решал каждый подлинный художник той эпохи. Как любое смутное время на Руси, она была мучительной, но неоднозначной. Продолжали издаваться новые книги поэта. Далеко не все критические отзывы о нем дышали огульной бранью. Он выстрадал, с новой силой понял за границей необходимость при любых обстоятельствах быть вместе со своим народом. Ощутил, что он и Россия до последнего дыхания – одно. И поскольку народная судьба оставалась предельно запутанной, ничто не обещало ему легкого пути.

Хотя вся его зрелая жизнь, за исключением часов уединенного труда, прошла на людях (отчего и возникал недоуменный вопрос: «Когда же ты работаешь?» – с ответом на него: «Всегда»), Есенин умел хранить от посторонних и даже близких самые сокровенные тайны своей души. Они отсвечивали в каждом его создании, но не раскрывались до конца: творчество гения – всегда загадка. В последние годы поэт слишком хорошо узнал, чего может стоить обычная неосторожность.

Среди всего сказанного им о себе в это время нелегко разделить искреннее и должное. «Я вовсе не религиозный человек и не мистик», – сообщал он в одном из вариантов автобиографии. Внешний свой атеизм, конечно не впадая в былое шумное богоборчество, он не уставал подчеркивать письменно и устно. Скорее всего, он так и думал. Было бы, вероятно, ошибкой допускать возможность его церковного покаяния. Дорога к Церкви, особенно для тех, кто находился на виду, оказалась почти закрытой. Для веры требовалось жертвовать всем, готовиться на земле к худшим испытаниям. Но потребность святыни, ее взыскание наедине с собой у художника оставались, по-видимому, очень сильны. Внутреннее движение, начатое стихами «об уходящем хулиганстве», неизбежно вело Есенина дальше и дальше к возрождению в поэзии подлинно отеческих начал.

Волшебным образом изменилось его отношение к слову. «Прежде всего, – говорил он теперь, – я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить». На самом деле он менее всего занят был самовыражением. Русская речь вновь открылась ему как бездон-

ная кладовая смыслов, народного чувства, народного опыта, как самая точная мера хорошего и дурного. Он творил в полном согласии с ней, владея, как никто вокруг, этим совершенным средством познания мира и собственной судьбы. Имажинистские увлечения отпали сами собой. И одновременно в его поэзии ожил высокий строй отечественной словесности. Художник и не скрывал своего тяготения к Пушкину. Его реалистическая поэзия стала продолжением традиции, неповторимым голосом той литературы, где являло себя на протяжении веков православное, по сути, миросозерцание. В ней засияли вновь «божественные глаголы».

Этот новый творческий дух по-своему определил ту позицию, которую вольно или невольно Есенин, «самый яростный попутчик», пытался занять по отношению к сегодняшней России. Живое слово неизмеримо больше текущего дня, его поспешных требований и запросов. Поэт умел, как прежде, охватить звучанием лиры весь национальный мир. Только отныне это был уже зрелый художник, хорошо знающий свою силу. Он стал поразительно умен в лучших его созданиях той поры. Ясная «пушкинская» мудрость осенила его стихи. Он не оспаривал наступившую реальность, он принимал ее такой, какая она есть, оставаясь при этом самим собой, перенося впечатления современности в колоссальное пространство данного ему слова, разгадывая все увиденное сокровенными оттенками языка. Но эта песня раздавалась на земле, которая по всем ею утверждаемым формам бытия оказалась глубоко чуждой собственной поэтической речи. Так возникал неизбежный разлад между стремлением художника «выявить органическое» – высокое, нетленное – и вопиюще неорганичным, безблагодатным ходом жизни вокруг него. Главное противоречие его последних лет.

Оно дало о себе знать, может быть, наиболее зримо в поздних отношениях поэта с некогда воспитавшей его средой: русским деревенским миром. Впервые тема глубокой пропасти, которая Бог весть когда пролегла между ними, наметилась в маленькой поэме «Возвращение на родину». По-настоящему эпическую силу она обрела в написанном тогда же, летом 1924 года, позднем есенинском шедевре, тоже маленькой поэме, «Русь Советская»:

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Откуда, почему появилось чувство своей ненужности, отчужденности? Тут можно было вспомнить есенинские путешествия, когда он, говоря его же словами, «по планете бегал до упаду», его привязанность к новой городской жизни, «богемное» прошлое. Наконец, то, что он, человек творческой профессии, представлял собой нечто странное, малопонятное для большинства земляков. Но в поэме о простых вещах едва ли не за каждой из них таились новые горизонты. Издавна присущая художнику объемность образов достигла своей вершины. Одно определение с полной свободой обнимало тут несколько понятий: элементарное и сложное одновременно.

Родные обители Есенина пережили настоящий ураган, приняли «иную жизнь», «другой напев». Он испытывал не только понятную печаль от необратимых с годами перемен. Уже немногим более ранние его стихи, где было описано возвращение в «милый край» – это «Вновь я посетил…» двадцатого столетия, – запечатлели подлинный поворот земной оси. Каланча вместо колокольни («На церкви комиссар снял крест»), календарный Ленин вместо икон на стене, «племя младое, незнакомое» («Сестры стали комсомолки»), готовое перечеркнуть и забыть все, что соединяло его с бабушками и дедами. Странник из новой поэмы тоже грустил не об одном лишь собственном «увядании». Оглядываясь по сторонам, он нигде не находил свою Россию: «И там, где был когда-то отчий дом, Теперь лежит зола да

слой дорожной пыли». Это, конечно, имело отношение к большому пожару 1922 года: тогда в Константинове сгорела изба родителей поэта. Но разве отчий дом для человека – только его изба, только дедовский угол?

Нет, Есенин был далек от осуждения новой русской деревни. Он хотел ее понять, сделать своей как реальность родной страны. Смешно думать, что он, русский гений, в чем-нибудь уподоблялся диссиденту. Но «самое необходимое слово» все равно вело художника к невольному, нежеланному отторжению того, что он наблюдал.

«Цветите, юные! И здоровейте телом!» – приветствовал он вступающее в жизнь поколение. И слышалась тут затаенная боль. Потому что здороветь душой под распеваемые «агитки Бедного Демьяна» (ударение пришлось как раз на это последнее: «телом») очень трудно, почти невозможно. «Готов идти по выбитым следам», – говорил он. И нельзя было увидеть здесь ничего иного, кроме твердой решимости следовать горькому жребию. Самое же главное, сокровенное признание следовало прямо в начале поэмы: «Я вновь вернулся в край осиротелый». Очевидно, что речь шла о жертвах революционного урагана. И все же за этим, таким понятным значением стояла еще одна громадная, последняя истина. Россия, позабывшая в мечтах о земном блаженстве, что она – Святая Русь, отвергнувшая Небесного Отца и своего отца земного, – это и есть край осиротелый. Точнее не скажешь. На многие годы вперед.

Поэтическое чувство безошибочно говорило художнику, что не столько он отрекся от «малой родины», сколько она сама вместе с большой страной отреклась от себя. А впрочем, разве не было в том и есенинского участия? Только теперь его талант «сбился с торной дороги». Поэт Есенин принадлежал иной родине. «Пилигрим с далекой стороны», «иностранец» – это ведь о ней, не только о Европе с Америкой, – о своей приверженности до конца тому, что, кажется, подрублено под корень и больше никогда не воскреснет. Вот почему на смену спокойно-грустной интонации приходили в конце поэмы торжественные, патетические строки:

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Тут не было места отчаянию, безысходности. Эти стихи одним своим появлением утверждали: Русь жива. Советская – это лишь эпоха в жизни великого, духовно неиссякаемого народа, его городов, сел и деревень, на которые по-прежнему проливается неразумно отвергаемый свет. Не III Интернационал, но Третий Рим – его суть, его судьба. Пройдет полтора десятка лет, и на самой страшной войне вчерашние юноши кровью своей засвидетельствуют эту правду. Написанная в один из наиболее темных периодов национального самозабвения, есенинская поэма стала подвигом, совершенным для всех времен.

Живой человек, он, конечно, спорил с самим собой. Эту разгоравшуюся внутреннюю полемику полнее других его произведений отразила еще одна маленькая поэма: «Русь уходящая». Есенин сомневался, даже раскаивался в непонятной, «ненужной» привязанности к дедовскому прошлому. Казалось, так очевидно, что «бывшие» люди, «бывшие» песни обречены. Они должны сгнить «несжатой рожью на корню», расчистить дорогу «сознательной» юности, шагающей в общечеловеческое «далеко». Ему представлялось, что он сам «очу-

тился в узком промежутке» между старым и новым. Он то жалел, что не увидел светлое будущее «в борьбе других», то с горькой усмешкой высказывал желание «задрав штаны, бежать за комсомолом». И пропускал через сердце потрясающий страну жестокий раскол. Переживал великую драму строительства земного рая. И пел именно то, что и могла она сообщить его душе: невыносимую грусть, смертельную «грусть в кипении веселом».

Стремление идти в ногу со «стальной ратью» долго не покидало его. Оно читалось во многом, что он тогда написал. Всматриваясь в перевернутый русский мир, Есенин различал определенно: есть большевики и большевики. В поэме «Страна негодяев» эти разные лица большевизма представляли ее персонажи – Чекистов и Рассветов. Первый из них откровенно ненавидел и презирал Россию. Второй на свой манер мечтал о ее восстановлении и процветании. Подобный расклад во многом отражал ситуацию того времени в партийной верхушке (многих руководителей государства Есенин так или иначе знал лично). Едва ли поэт особенно обольщался насчет тех, кто стоял за образом Рассветова. Это были тоже преступные люди. Но где было найти неповинных после такой бури, в такой стране? И он пытался внять их заботам, даже перестроить себя под их мерку. Может быть, в жизни, полной невзгод, он искал среди них покровителей. После «чего-то грандиозного», подмеченного им в Америке, художник понимал: их промышленные хлопоты, желание отстроить «стальную Русь» – это в числе прочего еще и ответ на исторический вызов. А все-таки воспевание «индустрийной мощи» оказалось не вполне для него органичным. Когда же речь касалась «библии марксизма» – «Капитала» (тема эта настойчиво проходила через его стихи), залеченная, казалось, рана открывалась опять и опять.

Каждым новым творением поэта его талант определенно доказывал, что он неподвластен «законам классовой борьбы», что вся его природа – иная. Долгие месяцы 1924–1925 годов Есенин провел на Кавказе. Зимой, находясь в Батуме, он работал особенно много. В этот период возникли его поэтические послания (письма в стихах), новые лирические стихотворения. Но самым значительным свершением стала большая, «лиро-эпическая», по определению самого художника, поэма о русской смуте и о любви – «Анна Снегина».

Несмотря на то что Есенин обращался в ней к событиям самого первого года революции в деревне, бросал ретроспективный взгляд на все, что происходило со страной потом, это не была революционная поэма. Ее страниц не коснулось ни радостное ликование былых космологических видений, ни бешеный разгул, который слышался в каждой строке «Пугачева». Поэт словно перенес нынешнего себя в то далекое тревожное время. Он не становился в описанных событиях на чью-нибудь сторону, не творил себе никаких кумиров, но и не осуждал кого бы то ни было.

Герой поэмы, «первый в стране дезертир», наблюдал со стороны, лишь едва до нее касаясь, «пугачевщину» XX века: шумные сходки, мужицкие войны – «селом на село» при возникающем переделе земли. Были тут и свой мятежный «заводчик», душегуб и каторжник Прон Оглоблин (чем не Хлопуша волостного масштаба?), и его брат – подловатый и трусоватый Лабутя, и бунтующие крестьяне, послушные их вождю. Люди, вовсе не чуждые герою, но в то же время существующие где-то в стороне, не затронувшие глубоко своими страстями его собственную душу. Художник не испытывал больше иллюзий, хорошо различал безрадостные последствия, которые несет его участникам русский бунт:

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку

Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.

Эпический мир «Анны Снегиной» выглядел томительно-грустным, почти безнадежным. Поэма и осталась бы такой, не окажись в ее художественном строе другого, спасительного начала. Самое главное, о чем говорил тут Есенин, собственно, и заключалось не в этих описаниях раскола, но в изображении внутренней жизни героя, его любви, всего, что ее разбудило, наполнило и заставило прозвучать.

История отношений приехавшего навестить родное село «знаменитого поэта» и его соседки-помещицы неуловимо напоминала прежнюю «любовь хулигана» из более раннего поэтического цикла. Тут была важна не та мимолетная вспышка страсти, о которой Есенин предпочитал говорить отточием в тексте поэмы, а нечто иное, что навеки соединило сердца двоих, – любовь, которая не сбылась и, пожалуй, не могла сбыться в мятежной России, а все-таки, едва замеченная, прошла с героями через всю смуту. Над ней оказались не властны ни мировые потрясения, ни протянувшиеся между ними границы. Они стали один другому – «как родина и как весна». Привязанность героя к милой с детства земле, ее людям, ее прошлому – все собралось в этом чувстве. Любовь к женщине, земные переживания вместили в себя голос вечности.

«Анна Снегина» – итоговая поэма. В ней часто возникала перекличка с далекими, самыми ранними есенинскими образами. И уже навсегда в ней ожила, утвердилась Божественная любовь. Лирическое начало произведения словно стремилось исцелить собой то гнетущее, страшное, что несло начало эпическое, вдохнуть забытую истину в это угрюмое, испепеленное ненавистью пространство. Здесь не было «Руси уходящей» или «Руси приходящей», но говорила, жила подспудно единая возвышенная Русь. Не случайно, хотя и всего однажды, появились в поэме старые, простые слова: «родина кроткая». В них заключался, как прежде, великий смысл.

Последняя пора жизни Есенина стала временем подлинного расцвета его лирического дарования. В течение 1924–1925 годов появились многие десятки «малых» шедевров. И почти на каждом из них лежал отсвет вечной правды. Не осталось и следа вызывающей страстности революционной эпохи. Ей на смену пришло подчас печальное, но все же по-настоящему глубокое умиротворение. Сентиментальная жалость уступила место высокому и чистому милосердию. Именно тогда были созданы самые прославленные стихотворения поэта, которые русский народ всегда безошибочным в таких случаях чутьем признал своими народными песнями: «Письмо матери», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». Обретение себя, возвращение к живым светоносным истокам означало теперь уже раз навсегда состоявшуюся встречу поэта с его родными обителями. В суровой, выхолощенной повседневности о подобной встрече нечего было и мечтать: на дворе был нэп (новая экономическая политика). Не одни коммунисты и комсомольцы – безбожные собственники заправляли теперь на селе. Но в области сокровенной эта встреча происходила необходимо и неизбежно. Вековая народная нравственность, особый склад национального характера («нежность грустная русской души»), неподвластные никаким «душеустроителям», получили в поэзии Есенина прямое свое выражение. И пусть его деревня, его Русь представали чаще всего далекими, несбыточными снами, они все равно были реальнее того, что творилось наяву. Искусство современного мастера не только по форме напоминало дедовские напевы, оно несло в себе тот же неистребимый дух. В нем совершалось продолжение и развитие родовых начал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.